

Последняя книга Альбера Матьеза представляет собой такой же сборник статей, как его старые «Робеспьеристские этюды», «Робеспьер-террорист», «Вокруг Дантона» и др. Только издан этот последний сборник значительно более пышным образом, чем предыдущие, — этим и объясняются его внушительные размеры. Есть впрочем и одно отличие по существу: если бы устранить из сборника несколько мелких или неудачных статей (о неизвестном революционном клубе «Reunion», о допросе Талона при консульстве, о конституции 1793) и дополнить его несколькими новыми статьями, напечатанными в журнале Матьеза, — сборник стал бы настоящим изложением исповедания веры крупнейшего современного историка Великой французской революции.

У нас уже привыкли к тому, что этот историк шествует вперед с головой, повернутой направо. Этим определяется очередное предисловие, обращение к либеральной историографии с предложениями «объясниться» (явление конечно вполне понятное: как еще держаться в современной Франции левому профессору, который на последовательны!) марксизм и сам не заявляет претензий?)

Этим же, пожалуй, объясняется и не вполне точное заглавие сборника. Тема Альбера Матьеза совсем не жирондисты и монтаньяры — отношение этих двух партий для него проблема решенная. Проблема Матьеза лежит внутри монтаньярской партии, в отношении робеспьеристов к правому и особенно к левому крылу якобинизма. Поэтому из двенадцати статей жирондистам посвящены только две, открывающие сборник, и, если отвлечься от обычного достоинства этого автора — блестящего мастера изложения, то интереса для советских читателей они представляют немного. Советский читатель обратит внимание разве только на превосходный психологический анализ процесса, который постепенно и независимо от желания жирондистов привел этих прогрессивных и демократичных «чистых идеологов», чуравшихся не только классовой партийности, но и партийности «вообще», к сознательному представительству интересов имущих классов против санкюлотизма.

Не слишком интересны также две заключающие сборник статьи, посвященные дантонистам (последняя кстати уже имеется в русском переводе). Общая оценка, которую Матьеза дает дантонистам, как жирондистскому охвосту — чисто буржуазной группировке в недрах мелкобуржуазной Горы, — совершенно правильна, но в советской литературе эта точка зрения была развита едва ли не обстоятельнее, чем в работах самого Матьеза. Что же касается до сведения личных счетов Альбера Матьеза с Жорж-Жаком Дантоном, то оно, имея в современной Франции определенный смысл, в советских условиях «не звучит»: парламентская коррупция — поистине далекое от нас явление, и ставить Дантону памятники у нас тоже никто не собирается.

Первостепенный теоретический интерес зато имеет для нас центральная часть сборника, посвященная робеспьеризму в его отношении к более радикальным группировкам Великой революции и косвенно ко всему последующему революционному и коммунистическому движению. В основном — это проблема вантозских декретов, поставленная Альбером Матьеза еще четыре года назад, кроме специальной статьи о вантозских декретах к этой проблеме примыкают еще статьи о двух заседаниях Комитета общественного спасения перед 9 термидора, и письмах Вулана о деле эбертиста Легре и о книжке Барту по поводу 9 термидора.

«Теория вантозских декретов» встретила у большинства наших специалистов не слишком дружелюбный прием: ее оценили в лучшем случае как преувеличение. Нам думается, что это неправильная оценка. «Открытие» Альбера Матьеза представляет собой драгоценный вклад для методологии истории буржуазной революции и во всяком случае чрезвычайно полезно как рабочая гипотеза: в свете этого «ОТКРЫТИЯ» оказываются объяснимыми многие факты, которые раньше объяснению не поддавались. Вантозские декреты дают единственно возможное объяснение социальному содержанию робеспьеристской политики весны—лета 1794 г. — не ограничиваясь же до сих пор фразами о «террористическом загнивании» и «личном честолюбии Робеспьера»! И вантозские же декреты дают очень конкретный ответ на вопрос о характере социальной революции в практике мелкобуржуазного революционаризма. Не характерно ли, в самом деле, что в течение XIX в. решительно все историки французской революции (в том числе и историки социалистические, за вычетом разве Жореса) проглядели, попросту проглядели вантозские декреты, в то время как коммунистические революционеры XVIII в. сделали их исходным пунктом своего заговора и в то время как еще последователи Бабефа в 30-40-х гг. крепко о них помнили!

Для современного сознания представление о социальной революции это — представление об обобществлении средств производства. В таком виде проблема социальной революции перед сознанием мелкобуржуазного якобинизма не стояла и не могла стоять. В процессе своей борьбы за продовольствие якобинцы неоднократно упирались в необходимость национализации торговли и даже промышленности» сюда прорастала вся их политика такс и реквизиций, но для национализации условий не было ни объективных, ни даже субъективных. Едва ли возможности, открывавшиеся государственной регламентацией хозяйства, доходили до сознания якобинцев. Несмотря на все угрозы (тщательно запротоколированные современными историками) отобрать предприятия у ленивых предпринимателей, самых радикальных якобинцев сковывало почтение к частной собственности, — максимум для них оставался временной и чрезвычайной мерой, с которой лучше всего было бы по возможности расстаться.

Но проблема социальной революции перед ними все же стояла, более того: с осени 1793 года она стала как конкретная животрепещущая проблема практической политики. Разрешить социальную проблему, «уравнять состояния», «уничтожить позорящую свободное государство нищету» все они хотели самым искренним образом, а представить себе все это естественным следствием политической демократии было теперь уже невозможно. Революция фатально вела к обращению «богатых эгоистов», которые были контрреволюционерами, и к обеднению храбрых санкюлотов, которые одни только революцию и поддерживали, — ни равенством всех перед законом, ни пропагандой «философии» явно уже нельзя было положения исправить.

Не найдя решения вопроса в своей хозяйственной политике, робеспьеристы нашли его в своей террористической политике. Террор из средства охраны революции превратился в ее самодовлеющую цель, «судебная деятельность» из отвешивания индивидуальных справедливостей стала средством массовой экспроприации контрреволюционных классов (это, кстати, единственная форма, в которой буржуазная революция может осуществлять экспроприацию). Имущества эмигрантов и казенных контрреволюционеров пошли на государственные торги, — «неимущим патриотам» от них немного пользы. Но остаются «подозрительные», 100000 семей подозрительных, и это дает решение: их имущество перейдет во владение «неимущим патриотам» бесплатно, оно даст возможность в недрах существующего общества «образовать совершенно новый социальный класс, который станет опорой революции, его создавшей».

Это и есть якобинское решение проблемы социальной революции, решение утопическое, гибридное и, если угодно, нелепое, но игнорировать его пролетарским историкам не следует: это — единственное решение, мыслимое в условиях буржуазной революции, оно только отражает гибридность понятия самой буржуазной революции, и раньше, чем пролетарское освободительное движение выработало законченную концепцию экспроприации экспроприаторов, оно долго окрашивалось подобным ходом мысли (коммунисты 30-40-х гг. и даже более поздний бланкизм).

Как бы то ни было, нужно констатировать, что Альберу Матье удалось установить следующие положения: 1) идея превращения борьбы с подозрительными в орудие социальной реформы была ходовой идеей того времени, в зародыше политика вантозских декретов на местах появлялась с осени 1792 г.; 2) за осуществление этой идеи робеспьеристы принялись самым серьезным образом, всячески подгоняли предварительные работы по переписи и вопреки глухому сопротивлению аппарата успели до своего падения добиться достаточно ощутительных результатов, которые не позволяют говорить о вантозской политике, как о блефе и маневре; 3) восторженно принятые революционным общественным мнением вантозские декреты в официальной верхушке вызвали беспокойство, немало содействовавшее образованию антиробеспьеристской коалиции и контрреволюции 9 термидора; 4) нет никаких конкретных данных для утверждения, будто, вотируя вантозские декреты, робеспьеристы уже подготовили удар против Эбера, наоборот, есть основание полагать, что переход кордельеров к «состоянию восстания» явился для Комитета общественного спасения неожиданностью.

Последний пункт, сколь он внешне ни кажется незначительным, должен привлечь особое внимание. Можно ли брать всерьез радикальную левизну робеспьеристской реформы, если хронологически она совпадала с разгромом радикальнейшего крыла якобинства? Самый факт казни эбертистов здесь был бы еще не так важен, — логически вполне мыслимо положение, при котором проведение радикальной программы предполагает предварительную ликвидацию радикальных кандидатов на руководство (к тому же столь анархичных по составу и по temperamentу, как эбертисты): совсем недавно, осенью 1793 г., якобинский блок, включавший в себя и эбертистов, именно так поступил с бешеными. Но несомненно, что разгром эбертистов в конкретных условиях весны 1794 г. означал разгром массового движения, и так же несомненно, что он сопровождался заметным общим поправением экономической политики Комитета общественного спасения. Это было наиболее убедительно продемонстрировано не кем иным, как тем же Альбером Матье, и однако это отнюдь не дает основания говорить о «термидорианском перерождении» робеспьеристов и квалифицировать вантозские декреты как лживый тактический маневр.

Тот экономический сдвиг, который начался весной и получил свое обоснование в жерминальском докладе Сен-Жюста, был охарактеризован Альбером Матье как неудачная попытка нэпа. В самом деле, любая органическая реформа предполагала тогда предварительно некоторое восстановление производительных сил. Политика максимума, позволив революции отбиться от врагов, истощила однако страну до крайней степени, никакого выхода мелкобуржуазной идеологии она не предоставила, робеспьеристам она с самого начала была невыязана, и теперь они пробовали от нее отделаться с худо скрываемым удовольствием.

Уже один этот факт свертывания политики максимума должен был привести к разрыву с эбертистами, которые, помогши в свое время расправиться с бешеными, полностью переняли в этом пункте их программу. Но социальное значение этого сдвига было несравненно шире. Отказ от политики максимума означал по существу восстановление альянса с капиталистическими классами и, значит, нажим на пролетариат и разрыв блока мелкой буржуазии с рабоче-ремесленной беднотой, — фактов, подтверждающих эти результаты робеспьеристского «нэпа», история зарегистрировала достаточно.

Весной 1794 г. во Франции восстановление производительных сил могло происходить только на капиталистической основе, и ничего от себя ораторы мелкобуржуазной добродетели этому противопоставить не могли. В этом и была их основная беда, это и послужило причиной разгрома их «нэпа». Слишком поздно они поняли, что «никакое правление не может быть прочным, если гражданские отношения строятся на противном ему принципе», слишком поздно и слишком утопично брались они за «перевод революции в имущественные отношения», и как раз на этом повороте чуждые «имущественные отношения» сломали их «правление».

Но в этом ведь была беда робеспьеристов, а не их вина! Где, кроме поверхности экономических отношений, доказательство их коварно-буржуазной контрреволюционности, их «термидорианского перерождения»? И в чем смысл напряженно-террористической политики этих месяцев, если экономический альянс с буржуазией получил уже и свое политическое завершение, — неужели все-таки только в «личном честолюбии диктатора»? И как объяснить контрреволюцию 9 термидора, если «термидор» существовал уже — до термидора?

Нужно согласиться, что точка зрения, предложенная Альбером Матье, объясняет многие факты лучше, чем они объяснялись до сих пор. И едва ли здесь можно говорить о преувеличении. Стоит только поставить перед марксистским сознанием вопрос о специфическом характере социальной революции в XVIII в., и значение вантозских декретов вырастает больше, чем у историка-эмпирика. В направлении, аналогичном вантозским декретам, революционная мысль в 1794 г. работала не только применительно к земельной собственности, а и к собственности промышленной, и через два года родоначальник революционного коммунизма замыслил организацию нового общества в виде такого же оазиса, искусственно насажденного в недрах современного общества: бабувисты только провозгласили его принципом упразднение собственности вместо уравнения собственности.

Тема во всяком случае стоит более широкого обсуждения. Будем ждать скорейшего перевода последней книги Матье на русский язык.

Я. М. ЗАХЕР, «Б е ш е н ы е», Л., 1930, с.241. РЕЦЕНЗИЯ на книгу в журнале «ИСТОРИК-МАРКСИСТ» (1930. Т.18-19. С.205-208)

Разбираемая книга представляет собой собрание статей, печатавшихся в наших журналах и посвященных отдельным лидерам бешеных. Собранные вместе, эти статьи оставляют читателя несколько разочарованным. От книги таких размеров ожидаешь больше нового материала, а от автора, так долго работавшего над темой, — более ясных постановок вопроса и более осязательных выводов. Между тем после книги Альбера Матье о социальном движении эпохи террора материалы Я.М.Захера оказываются неспособными поразить новизной: они не выходят за пределы тех тем, которые Матье разрабатывал в своей книге в 1927 г. Об орлеанском бешеном Табуро-Монтиньи Матье начал писать в 1930 г., и Я.М.Захеру только и осталось, что упомянуть это имя один раз в предисловии. Между тем, как раз при той установке, которая характеризует Я.М.Захера, Табуро представляет неизмеримо больший интерес, чем Ру, Варле и Леклерк; вот, действительно, единственный бешеный, бывший не только эмпириком, но и идеологом в политике! Охват темы у Я.М.Захера определен материалами из вторых рук, — убеждение в истинности этого факта не может быть поколеблено даже ошеломительными размерами его «аппарата», которые могут только заставить воззвать к более экономному обращению с советской бумагой (нехорошо, в самом деле, когда приходится читать пять, шесть; восемь раз подряд «Ibidem», p.721» или просто «Ibidem», — ср.с.91,125, 216 и др.).

Что же касается общих выводов Я.М.Захера, то единственный его общий вывод, на котором стоит остановиться, сводится к тому, что бешеные не были ни коммунистами, как некогда утверждал Кропоткин, ни ординарными якобинцами левого крыла, как устанавливалось в советской литературе. И этот вывод был бы ценен, базируйся он на детальном

классовом и экономическом анализе движения; однако именно здесь работа Я.М.Захера и оставляет читателя наиболее неудовлетворенным.

Конечно все это объясняется прежде всего специфическими трудностями темы. Наиболее значительная часть документов, относящихся к движению бешеных, погибла, а в плане интересов буржуазной исторической науки это движение не стояло: книга советского историка — это первая монографическая работа о бешеных. В результате автор пошел по линии наименьшего сопротивления: распределил материал применительно к биографиям четырех лидеров движения, заключил это главой об их идеологии и предпослал 15 страниц по поводу «социальных корней».

Биографический метод изложения конечно вполне законен. Он даже имеет специальные достоинства кроме удобства изложения, когда дело идет о таких личностях, как Робеспьер, Марат, даже Шомет: это личность и сами по себе достаточно значительные и главное в них персонафицируется целое движение, эпоха, стиль. Наоборот движение бешеных — это по самому существу безличное массовое движение, и все те люди, которых оно вынесло на гребне, не могут претендовать на специальный исторический интерес. Автору приходится повторять четыре раза, что данный лидер бешеных в начале революции был банальным буржуазным демократом (или, как выражается Я.М.Захер на с.47, «интеллигентом с довольно слабо выраженной классовой сущностью»), а потом постепенно превратился в представителя интересов парижской бедноты со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Низовой и стихийный характер этого движения определяет и тот факт, что глава об его идеологии («мировоззрении») не может оказаться политически значительной: «мировоззрения» у бешеных не было, не было даже сколько-нибудь определенной политической программы, были отдельные, отрывочные, сформулированные в процессе повседневной борьбы бедноты за продовольствие политические требования. Автор аккуратно подразделяет часть книги, посвященную «идеологии» бешеных, на главы об их философских, экономических, политических и социальных «воззрениях», но внутри этих подразделений дела у него оказывается немного, несмотря на самое искреннее желание зарегистрировать все, что только можно, и подать в наиболее выгодном свете значение зарегистрированного.

«Философские» воззрения приходится сразу предварять замечанием, что они не могли «сколько-нибудь существенно отличаться от идеологии монтаньяров» (с.203). Воззрениям же экономическим соответствует такое витиеватое предуведомление:

«Говорить об отсутствии оригинальности в экономических воззрениях бешеных можно только в том случае, если сравнивать их со взглядами не буржуазии вообще, а только буржуазии мелкой» (с.213). Может быть сравнение экономических воззрений бешеных с воззрениями, скажем, феодалов или современного империализма выявило бы еще больше оригинальность этих воззрений. Но в том-то и дело, что сравнивать их приходится не с взглядами «буржуазии вообще», а с взглядами мелкобуржуазного якобинства. Но тогда-то как раз положение о политическом своеобразии бешеных станет под сомнение — в соответствии с вышеприведенной туманной фразой Я.М.Захера и в противоположность общей не вполне ясной концепции Я.М.Захера.

Будто уж так и нельзя считать бешеных просто левым флангом якобинства, т.Захер? Будто уж были в их движении принципиальные, структурные отличия? Термином «якобинство» определяется совершенно точное социально-экономическое понятие. Это мелкобуржуазный революционаризм, который в борьбе с капиталистической буржуазией не может выставить никакой творческой, экономически положительной революционной программы, который смущенно останавливается перед проблемой социальной революции, связанный своим почтением к собственности и неспособностью обобществить средства производства, но который представляет действительно народное массовое движение, который не стесняется в средствах в своей политической классовой борьбе и потому остается поучительным образцом и для пролетарской революции. Пролетарская революция, будучи столь же решительной в методах борьбы, является еще более мощным массовым движением, освобожденным от всех недостатков якобинизма: сразу ставит проблему переустройства производственных отношений, что открывает перспективу упразднения классов, не дает погрязнуть в чисто политическом терроризме и т.д. Спрашивается, какой тут третий, промежуточный, тип создает движение бешеных? Они ведь не меньше якобинцев чурались коммунизма и скорпионы своего терроризма направляли не против буржуазной собственности, а против буржуа-контрреволюционеров.

Указания на большой «социальный акцент» в политической деятельности бешеных тут недостаточно. Утверждение, что у них эгалитаризм «достиг такого углубления, при котором он уже непосредственно граничит с социализмом» (с.126, 241) — это не аргумент за их социально-политическую самобытность, потому что это не конкретно-исторический аргумент, это «тощая абстракция». Идеология вообще вещь расплывчатая, и элементы «эгалитаризма, непосредственно граничащего с социализмом», можно ведь обнаружить не только у монтаньяров, а, пожалуй, и у жирондистов (Кондорсе, Рабо-Сент-Этьен, Фоше и группа Социального кружка).

Все попытки Я.М.Захера конкретизировать свою тезу, оставаясь в пределах идеологий, не могут показаться убедительными. Леклерк в августе 1793 г. предлагает нечто вроде национализации хлебной торговли (с.169, 221)? Но ведь монтаньяры, несмотря на все торможения от идеологии, с осени того же года начали осуществлять эту программу в значительно более широком виде! Варле в период выборов в Конвент (август-сентябрь 1792) обязывал будущих депутатов «стремиться к созданию общины, всякий член которой должен получать лишь в меру того, что он ей дает» (с. 125). О, это была чистая фразеология! Популярных разговоров о «communaute» Варле наверно наслушался у Фоше и Боннвиля, и отсутствие у этой communaute всякого реально-политического (а тем более революционного) смысла явствует хотя бы из того, что на той же странице Варле выдает охранную грамоту даже «крупным состояниям, нажитым посредством тонких расчетов или смелых предприятий», — он настроен только против спекулянтских капиталов, созданных «за счет народных бедствий»! Жак Ру в августе 1793 г. предлагает после войны разделить имущества контрреволюционеров среди неимущих санкюлотов (с.98). Этот лозунг — интереснее, потому что реальнее, но он-то как раз и является типично якобинским способом «активного воздействия на социальные отношения», подобные меры робеспьеристы и попробовали в широких масштабах осуществить, начиная с весны 1794 г.!

Так же неудачна аргументация Я.М.Захера, когда он переходит к области политической идеологии. Протесты против террора, возмущение законом о подозрительных, оппозицию диктатуре Комитета общественного спасения и требования немедленного введения в действие конституции, кажется, даже сам Я.М.Захер не склонен считать следствием принципиальных отличий «политической доктрины» бешеных от якобинцев. В самом деле, против диктатуры всегда начинали вопить все, кто из субъектов диктатуры превращался в ее объекты, — вопили в свое время и эбертисты, и дантонисты.

Но зато Варле в сентябре 1792 г. представил Конвенту проект «специального и императивного мандата», в котором проводит идею депутатской связанности приближающей представительство к ограниченному порученству (с.124—125, 224—226). Неумеренный энтузиазм, проявленный по этому поводу Я.М.Захером, может быть объяснен только его недостаточной осведомленностью. Требования императивного мандата, права отзыва, контроля и отчетности не только не придают проекту Варле «характер, принципиально отличный от конституции монтаньяров» (с.225), но даже не достигают той степени полноты и последовательности, с которыми они были развиты в якобинских проектах. Если монтаньярская конституция не дала им полного выражения, то это по причинам специального характера, которые должны быть известны нашему автору: после 31 мая конституция была для монтаньяров прежде всего агитационным средством, и провести в ней все якобинские политические принципы было политически невозможно. И если якобинцы уступали лидеру бешеных в

последовательности проведения системы депутатской связанности, побаиваясь императивного мандата, как пережитка сословного представительства, то они далеко превзошли его в идее непосредственного участия народа в законодательстве (инициатива и санкция законов, конституционная ревизия).

Во всяком случае, и Варле и якобинцы не выходят из пределов буржуазно-демократических представлений о государстве: их идеал это — парламент, одобренный референдумом. Нет никаких оснований по поводу проекта Варле говорить, как это делает Я.М.Захер, о «пределе, за которым начинается перерастание в пролетарскую демократию», о демократическом централизме и об «явственном дыхании зарождающегося рабочего класса» (с.124, 226-227).

В этих проектах Варле «дыхание рабочего класса» отсутствует так же, как в проекте государственной монополии хлебной торговли Леклерка, который, вспоминая экономические мероприятия старого режима, никак не помышлял о превращении их в опорную точку для обобществления средств производства.

Даже ряд действительно интересных политических требований бешеных частного характера, как отделение церкви от государства и изгнание богачей из армии (с.212, 239), не создает конкретно исторической характеристики бешеных и не доказывает их принципиальных отличий от якобинцев.

При всем том остается бесспорным фактом, что бешеные были наиболее радикальным крылом якобинской революции, что им принадлежала инициатива очень многих экономических мероприятий Конвента, что это они навязали мелкобуржуазной Горе систему максимума и реквизиций, то есть разрыв блока с буржуазией. Просвета из созданного таким образом режима бешеные не видели так же, как и официальные якобинцы. Как и для официальных якобинцев, режим государственной регламентации хозяйства оставался для них временным и чрезвычайным режимом, авторитет частной собственности, хотя бы и крупной, оставался незыблемым в их глазах, и средство к постепенному достижению «фактического равенства» Ру и Варле, как и робеспьеристы, усматривали не столько в реквизициях, сколько в распространении просвещения и успехах философии (с.205, 237).

Конкретно-историческая характеристика движения бешеных, в частности объяснение его социального радикализма, находится, таким образом, не в его «идеологии», а в особенностях его классового состава. Исследование же классового состава этого движения представляет, повторяем, очень большие трудности, так что не вина Я.М.Захера, что соответствующие главы оказались у него наиболее поверхностными. В нынешнее время в самом деле едва ли кого удовлетворит характеристика бешеных, как представителей не «мелкой буржуазии», но (!) «ремесленников и рабочих», причем здесь же приходится подчеркивать, что «если мелкие ремесленники по своему существу принадлежат скорее к мелкой буржуазии, нежели к рабочему классу, то ведь и индустриальные рабочие того времени еще не успели мало-мальски осознательно отделиться от мелкой буржуазии» (с.25).

После этого в той же главе можно прочесть, что движение бешеных было отчасти реакционным, потому что «рабочие домашней промышленности эпохи французской революции должны были явиться элементом объективно реакционным», но зато индустриальные рабочие не были реакционны, и «именно постольку, поскольку бешеные выражали интересы и этой части рабочего класса, в их идеологии встречались наряду с реакционными и глубоко передовые и революционные по своему содержанию элементы» (с.33).

Попробуйте-ка, сопоставив эти три высказывания, понять точку зрения автора! Все это не больше как словесность, в которой автору приходится верить на слово, которая нисколько не помогает понять действительность и в которой, наоборот, способен запутаться читатель, как путается и сам автор. Индустриальные рабочие, хоть и не успевшие «мало-мальски осознательно отделиться от мелкой буржуазии», оказываются однако носителями «глубоко передовой и революционной» идеологии.

Тут же вскользь объясняются и причины борьбы реакционно-революционных бешеных с реакционной мелкой буржуазией и революционной (?) буржуазией:

«Сделавшись, невзирая на свою мелкобуржуазную природу, проводниками дела всей буржуазии в целом, монтаньяры должны были придти к неминуемому столкновению с рабочими и ремесленными массами, требования которых решительно противоречили объективным задачам буржуазной революции» (с.30—31). Тут у Я.М.Захера, получается некоторая «неувязка» не только с высказываниями Я.М.Захера, но и с историческими фактами. Монтаньяры пытались проводить политику, общую всей буржуазии только с июня до сентября 1793 г. «Секционная революция», знаменовавшая решительный переход Конвента на путь антибуржуазной диктатуры, происходит 4—5 сентября, а Жака Ру арестовывают 6 сентября, и только потом начинаются преследования остальных бешеных!

Таким образом, подмена М.Я.Захером марксистского анализа социальных отношений упражнениями в марксистской терминологии благоприятных результатов не дает. Вопрос о бешеных остается открытым вопросом, проблема их социальной природы ждет еще марксистского исследования.

С-й [Я.В.Старосельский ?]